

Б. ИВАНОВ

ВЕРНИТЕ АИСТУ ПЕРЬЯ

Тела на нарах распластались, но казалось, в ногах у каждого стоит ангел и скорбит о том, что произошло вчера и о том, что случится завтра. Душно. Желто за проволочной сплеткой светят дежурные электролампы. В эту ночь Пнин понял, что долго не продержится, а разговоры охранников о поэзии приблизят конец. Страдания от этих разговоров распространялись и на те немногие минуты и часы, когда он забывал о том, что он раб-робот - рабочий за табельным номером II740,- чувствовал себя потомком славного рода, разумным существом и необходимой частью вселенной.

В сравнении с другими восточными рабочими он, близорукий находился в неравном положении: когда составы с сахарной свеклой приходили и вдоль ленты транспортера цепью вытягивались они, Пнин был единственный, кому минута передышки была опасной. Он не мог, как остальные, опереться на лопату, ожидая, когда сердце восстановит ритм, а рукам вернется сила. Юноша не различал предметы далее двадцати шагов и, следовательно, подобно другим, не мог скрыть самовольную передышку, когда взгляд прогуливающихся надзирателей падал на него. В первую неделю его лишили хлеба дважды, во вторую - хотя и не сильно избили. За ним теперь наблюдали более пристально, но охранники так и остались для Пнина вездесущей карающей абстракцией.

"Я опытен"- принудил он себя подумать о неумолимых законах цепи, в которой для тех, кто успешно выполнял свои функции раздавался щелчок - и они становились старостами бараков помощниками надзирателей. О, никакого подобострастия, никаких пороков! Они требовали от других только то, что прежде делали и потому были полны собственного достоинства и уверенной строгости. И цепь была виновна перед ними, как перед своим собственным образцом. Цепь искупала свою вину, принося в жертву

тех, кто в сравнении с образцом был наиболее нелепым и комичным.

" Я знаю, как это происходит", - сказал себе юноша, что означало, он уже не раз видел, как преданные цепью, ожесточались. Они произносили проклятия так, чтобы их слышали, проклиняли и угрожали будущим возмездием, как это делали пророки всех народов, а потом готовились к неизбежному, молясь и философствуя.

Проклятия, молитвы, уроки мудрости - это предсмертное возрождение жертвы - входили в жизнь цепи точно также, как её вина и строгость образцов. Жертвы побуждали к раздумью и успокоению тех, кто толпился в цепи между полюсами, в то время как неизбежность жертв сообщала цепи бодрость существования.

Те, кто со временем заступит на место Авеля, уже знал, что говорить и что делать.

Пнин не спал. Он вспоминал Олега Михайловича. Однажды поднятой ладонью, Учитель остановил его увлеченную критику яснополянского мудреца и сказал: " Вы спорите, дорогой, с нашим пророком, как с художником, а он - жилец земли. Всегда имейте это в виду". - Да, да", - волновался на тощем ватном туфельке Пнин, - как вы, Учитель, правы! Карагаев философствовал потому, что был обречен. И чудо возрождения Пьера - лишь свидетельство того, что после смерти Платона он занял в цепи е^ё место".

Но, но, - противился юноша, я не хочу говорить, что оно такое - эта жизнь. Я не хочу выводов предсмертной мудрости. В однообразии проклятий я виду однообразие принудительности. Нет и нет! - Пнин огорчился и уснул высокомерным и непобедимым.

После первого наказания Пнин сочинил фразу, в которой он должен был обратиться к надзирателя, - это была просьба

снабдить его очками. Несколько раз он подправлял оттеки своего обращения. Но когда фраза, великолепно выражавшая всю полноту его положения обрела окончательную форму, он почувствовал её неуместность, — оценил как "еретическую" ^{X)}

Фраза прекрасно звучала только в те часы, когда вечером он прогуливался с той возвращенной себе походкой, с какой некогда бродил по улицам Арбата, а его размышления обнимали сероватые доски барака, суховатую траву вдоль его стен, касания ветра колючей проволоки... Всегда оставалось что-то несвеженным: сложный ток воздуха у самой земли, шурк воробьев, перелетающих крышу с бегущей геометрией тени, перпендикулярно вдруг сбегающей по стене вверх... Его фраза была причастной к вечерним часам, к затаенным волнениям, и никак не вязалась с теми, кому предназначалась.

Его вечерний мир был более точен, чем у разговаривающих о поэзии надзирателей. Да, они говорили о поэзии, степенно ступая вдоль ленты транспортера, на которую рабочие нагружали бураки, они говорили продуманными формулировками, легко углублялись в детали и завершали каждую экстопаду указанием на имя хорошего поэта или стихотворный шедевр.

Останавливались они именно около Пнина, как того звена цепи, которое внушало им наибольшее опасение. Его работоспособность была как раз условием их спокойных бесед, и только убедившись в ней, они могли идти дальше.

Они останавливались — и Пнин слышал фрагменты из их учебных бесед. И если говорить в целом, то вполне простительно: небольшой пропуск в строке Вергилия, — охранник его почувствовал, ибо потерял ритмическую фигуру строки, ^{X)} и забавную обцию в памяти одного из них — изложение о Рембр велось в схем известной работе о Готье. Что касается Пнина, то обдумывая первый фрагмент беседы надзирателей, он нашел ее выдержанной в духе строгого академизма.

^{X)} Всю фразу Пнина! Женщина на берегу моря, ярко сияла блеск поправленного
и покрасневшего лица — лицо — осколок, но осколок будущий час зари, который
уничтожил ее." ^У Али сидел соф.

Свою собственную странность — память, которая без всяких усилий с его стороны удерживала тысячи строк поэтических и учебных, имена и даты, и даже обложки книг, и даже запах их листов, запачканных и незапачканных пометками, — эту способность Пнин не ценил. Вернее, перестал ценить, потому что его Учитель настойчиво иронизировал над слабостью "Юного Ученика" — так торжественно он называл Пнина, — уточнять высказанное другими.

"Поэтический факт, — говорил Учитель, — создается выразительностью, при которой точность — это восхождение к полноте, где бытие и слово являются себя в единстве. И тогда я не хочу ничего другого, что находится за стихотворной строкой."

"Буря мглою небо кроет", — не правда ли, Юрий, все забыто. Так и вы, Юный Ученик, умейте забывать числа Поликлета и разумного друга поэтов Эйхенбаума.

"Вслушайтесь! — однажды пояснил Учитель. — Стекла в рамках бубнят, — это катится улицей трамвай, вагоны оставляют за собой красный шлейф, мы видим его, волочащегося по мостовой, когда трамвай уже ушел, а на мгновение в воздухе пахнет вареной картошкой, не так ли!"

Драгоценные уроки!... Или вот: Учитель протянул к Пнину руку и удивленно спохватился. "Юрий! — воскликнул он, — интеллигентный человек, протягивая руку, уравновешивает её, чуть чуть откидывая голову назад. Неинтеллигентный — тянется за рукой весь и тело его складывается в пояснице, на этом шарнире работ."

... Слушая новые фрагменты бесед, Пнин поразился, как далеко охраники уже зашли. Поэзия и их беседы о поэзии совер-

х) По-русски строка звучит так: "В век тот впервые стада
пить начали свет — и железным..."

шенно раздоились; высказывания надзирателей становились сме-
лее; в голосах кишили приказные интонации. И когда Юрию почу-
дились, что, помимо их двоих, где-то присутствует третий, кото-
рому они - а он об их существовании ничего не знал,- в самозаб-
вении жстили и пот покрывал их бледные лбы.

Бледные потные лбы охранников проникали в вечерние часы
Пнина, а ночи наполнялись окриками и кошмарами. Другие жители
бараков не знали его страданий, и это была вторая причина, кото-
рая должна была убить Пнина. "Ах, Олег Михайлович,- молился
Юрий, - вы могли бы спасти меня одним словом!"

Пнин бежал после вечерней разгрузки. Он проскользнул на
платформу и лег на пол - на тонкую пыль, еще пахнущую не землей
а её недрами, с еще неулетучившимися ароматами внутренней жизни
земли- грибного и кислотного запахов. Громыхнули вагоны, и поезд
всю ночь, без остановки, шел под осенним звездным небом.

Тени городов касались его. Он наблюдал, как эскадрилья
самолетов прокладывала световую долину, оставляя за собой мед-
ленно опускающиеся ослепительные шары, а на земле невидимые
механизмы прессовали залпы и закидывали на шары разноцветные
нити траекторий.

На рассвете поезд остановился на небольшой станции, и сра-
зу послышались голоса железнодорожников. Пнин перевалился через
борт платформы и зашагал в сторону, а потом, когда его заметил
побежал через поле, кое где перепаханное под зябь. Каждая скла-
ка ландшафта входила в его тело, ~~стучала~~ в плоскую косу
грудной клетки или замирало, когда, раскинув руки, чтобы не
потерять равновесие в этих негнувшихся бахилах, сшитых из при-
водных ремней старых трансмиссий, он бежал под уклон.

Беглеца настигли часа через два собаками. Пнин не пошевелился, когда сквозь боярышник просунулась морда овчарки. Овчарка засыпалась лаем, и появились еще две. Не спуская с него глаз, легли полукругом. Юрий успел к собакам привыкнуть к тому времени, когда появились мужчины в высоких сапогах, гражданских пальто, перепоясанных ремнями. Ему приказали встать, обыскали и привели в деревню, где капитан похожий на Тартюфа, потерявшего добродушность, допросил его.

Пнин отвечал - да, нет. В одном случае он допустил плошность, капитан схватил палку и закричал, когда Юрий на вопрос капитана, сколько ему лет, ответил: "Двадцать с половиной". И другие присутствующие восприняли это как дерзость. Но, все-таки, его не били, только выводя к прибывшей машине, сильно толкнули с лестницы, тяжелые бахилы отстали и он упал. Капитан футбольным ударом отправил бахилы Пнину и все кончилось смехом галерки.

Пнина не возвратили сахарному заводу, в тот же день его доставили в барак сталелитейного завода. Здесь все было пропитано запахом машинного масла, мокрого чугуна. Рабочие металло-смуглыми лицами были подобны подручным кузнецам Гермеса. По нарам соседом оказался старичик, служащий провинциального Ржева, который достал ему, хотя и с трещиной на правом стекле чудесные очки. Его здесь распросили и старались убедить, что он дурак, раз сбежал с сахарного завода. - "Здесь ты ничего не сварганишь насчет шамовки". Но у Пнина было ощущение большой удачи.

Предчувствие не обмануло его. Утром их построили колоннами и повели на завод круто поднимающейся дорогой. Колонна шла свободно - переговаривались, передавали цыгарки из рук в

руки, обличали товарищей в жадности и восхвалили свою щедрость. Здесь, как говорил Олег Михайлович, теплились "искры морали", "Мораль также редка, как на тротуаре неподнятая монета". Юрий снова благодарил Учителя за преподанную мудрость.

Они достигли круглого темени холма - и Пнин был захвачен открывшейся перед ним картиной. С вершины открывалась долина, с тускло - свинцовой лентой реки, стесненной пристанями, баржами, огромными заводскими корпусами. Уже тут, на расстоянии километра, воздухibriровал от ударов, звона, лязга. В потьме рассвета взад и вперед толкались железнодорожные составы; жилы огня вспыхивали в окнах строений. Дымы и пары вырывались из их отверстий, клубились, таяли - тянулись в сторону новой медлительной небесной рекой.

"Как дивно, как дивно!" - взволнованно пропищал Юный Ученик открывшейся перспективе. Он слышал глухие удары паровых молотов, чавканье расслабленного в огне металла... - это не была музыка, это не были рифмы и ритмы, совершающиеся на его глазах повторений, - это был звук, это был огонь, это был металл, это были люди, это был он сам. Сердце Пнина неистово билось, потому что не успевало насытиться кровью сонм образов. Он мог бы сказать, что сами образы, словно мыльные пузыри, выпускались бесчисленными трубами долины и это они текли вдалекой, переваливая чуть угадываемую линию горизонта.

"О-о-о" - лихорадило Юного Ученика. Ему никак не удавалось теплее упрятаться в рабочую робу. Но он пережил блаженство познания и величие рождающегося замысла.

Его поставили на погрузку металлоотходов, - распорядители, повидимому, были уверены в том, что функции человека не должны изменяться.

Сюда подавали порожняк, на опрокидывающихся вагонетках они возили на платформы лом и стружку. Иногда вагонов не было. Их вели на разборку развалин и ремонт дорог, но это после бомбёжек. Дважды в месяц под ответственность бригадира их выпускали из зоны.

Бригадир вел их окраинами улицами к стоянкам такси и трамваев, к тем местам, где функционировали шалманы. Бригада собирала окурки сигарет. Иногда домовладельцы давали им работу - убрать двор, перенести уголь. Потом или гнали вон, или кормили или давали деньги, на которой в одной пивной отпускали пиво. На обратном пути товарищи Пнин обсуждали удачи и неудачи "пасхи" - так называли выпускные дни. В жестяных коробках из-под зубного порошка ~~кофанились~~^{копались}, окурки сортировали и спорили.

Пнин окурки не собирал - не курил, он шел немного позади, читал афиши, воззвания. Старые камни домов и оград всегда напоминали ему о том растворе, на котором держится мир. Сцепление вещей, говорил Олег Михайлович, вот загадки поэтов, потому что поэт не сочинитель, а постигающий то, что находится между вещами, - вещи же ему даны - вот они! И, улыбаясь, замолкал, оглядывая свое царство. Пошлая жизнь тротуаров миновала Юрием. Они, "пасхальные", имели право ходить только по мостовой и это правило Юный Ученик признавал, естественно вытекающим из предыдущих травм организованного величия аборигенов.

Движение заводов здесь забывалось, или - о них старались забыть, но Пнин подсмотрел, как они тонко присутствуют тут, формируя единство. Образ, который был непростительно груб: человек - иллюзия металла, был только примерным обозначением того, что Юрий хотел высказать.

Не мог он выразить и то, что увидел внезапно. На пути к заводу они встретили колонну, возвращающуюся после ночной смены: из-за гребня холма появились фигуры вытянутые в напряжении подъёма. Пинн увидел то, что было до этого памятью сна, — идущие были пусты, это были сквозные оболочки. Дело не в том, что их робы лишь имитировали наполненность телами, — прилегание тканей обнаруживали дыры промежностей ног, дыры ключиц и не в сквозняке впалых глазниц, вмятинах брюшины, отдельности твердых ушей, а в большем — пронзенности и просвечиваемости человеческого существа, в той свободе рельефа, дыма, металла, закона земного претяжения пронизывать человека. Люди напоминали чертеж на прозрачной кальке, постоянно меняющейся в игре напряжений жизни. Смерть сообщает итог, но осязательность самой жизни таилась в этой игре в прозрачность.

Пинн понял, что надзоратели, говорившие о поэзии не знали о сквозном человеке и в поэте ишли к смерти; предчувствовали её, и не в силах были свой путь изменить. Их тревога и мстительность, и возрастающая смелость суждений были не опровержением, а напротив, — их усиливающейся готовностью к смерти. Пинн искал слово, которое бы назвало бы то, что пахло бы академией и смертью, и остановился на слове — "финалисты".

И новый надсмотрщик, обреченно направляющийся к бригадиру Алехе, чтобы смазать по физиономии или, похаркивая, значительно промолчать, окинув глазами свалку, был финалистом. Он будет брошен в переплавку, как уже завершивший свой круг. Человек — наложница металла относилось к тем, что был готов пить струю чугуна в предсмертной жажде ускорения смерти.

"Юный мой Ученик, как бы я хотел, чтобы вы страстно полюбили противоречия и были бы им преданы, как епископ

символу веры! Может быть, из всех уроков самый трудный этот, Я обещаю, мой мальчик, тебе наслаждения, которые знает лишь настоящий поэт. Люди ловят воздух там, где поэт держится за ~~хм~~ твердь,- и кажется, он идет по воздуху. Он перекидывает арки и мосты между несовместимостями, соединяет капителии с колоннами и склеивает "позвонки столетий". Я пост^и, к сожалению , это поздно и стал Вергилием, но не Данте. Наверно, вам будет диковинно узнать об обстоятельствах, при которых я это понял.

Однажды, дорогой, я выходил из ресторана в сильном подпитии, то есть, в состоянии "доброго молодца". Я крикнул: "Швейцар, такси!" И слышу: "Я не швейцар, а адмирал военно-морского флота." Как вы понимаете, я перепутал ливрею швейцара с мундиром адмирала. Но я тотчас же поправился:" Тогда катер! Как поэт я не ошибся. Я увидел мост там, где для других зияла пропасть... О, это рискованное занятие, но иначе не соорудить что-то подобное куполу собора Петра. Для этого не обязательно быть таким мрачным честолюбцем, каким был Микальянжело."

Да Учитель, вы не ошиблись. Как бы я хотел прочесть вам поэму о сквозном человеке. Каждый день я дополняю ее двумя - тремя строками. Я возвращаю аисту его собственные перья, когда тут умирает страна.^{x)}

Как я скучаю по вашему распахнутому окну, панцирю черепахи на вашем письменном столе...

Через два месяца поэма была закончена.

Пинин узнал об этом случайно в одну из "пасх". Он шел

x) В ~~Будапеште~~ взрыв патронного завода был так силен, что у аиста, гнездившегося довольно далеко, воздушной волной вырвало все перья. Пинин никак не мог забыть этот случай.

следом за своей бригадой, и догадался, что уже ничего не может проникнуть за ограду поэмы. Ни марширующие по улице юнцы, ни девушка с газовой косынкой на плечах, ни пастор, сунувший ему с шопотом латинской молитвы булочку, завернутую в пергаментную бумагу.

И следующий день не добавил ни строчки. А когда произошлассора, причину которой он никак не мог уяснить, — то ли действительно он перепутал чужую пайку хлеба со своей, то ли Алекса по привычке провел грязной ладонью по губам Юрия вверх — он ударили бригадира, и тот медленно удалился в проход между нарами, падая, это была бессмыслица и опять потому, что двери поэмы были уже закрыты.

И та монета морали, которую протянул ему Алекса, была так обескураживающе ненужной: для поэмы, — что у Пнина выступили на глазах слезы.

В ночную смену бомбили заводы. Бригада по обычаю, отсиживалась в щели на свалке, под огромной старой шестерней, которую невозможно было ни поднять, ни погрузить на что-либо. В щель просунулось курносое лицо их вожака. Он их повел через дыру в заборе на железнодорожную станцию.

Пути были безлюдны. Мирно горели вагоны. Горячим огнем сыпались осколки зенитных снарядов. Из разбитой чистерны выбежало молоко и в розовом освещении пожара покрывалось пенкой.

Они обшарили вагоны и через час вернулись в щель с банка сардин, повидла, кругами колбас.

Пнин в вагоне с изрешеченными стенами трогал эти драгоценности, взвешивал в руке и опускал на место. Между Пнином и вещами не было ничего общего. Он так и остался в поэме, так неожиданно завершившейся, и то, что завершилось, было

прекраснее мира, хотя только этот мир и был в поэме.

Пнин обругали и дали нести какой-то ящик. Алеха сказал:
" Я вижу, ты уже намылился. Смотри бедолага, не подводи себя под монастырь. Хозяева не любят рецидивистов."

Да, подумал Пнин, я уже намыливаюсь.

Олег Михайлович, вот как кончается жизнь! Я не хочу выходить из поэмы. Зачем? Куда? Ирония не спасает меня, стоит коснуться поэмы, она не отпускает меня до тех пор, пока не услышу её до конца. Моя жизнь как гнездо, покинутое аистом, моя жизнь, как у аиста, которому некуда опуститься, моя жизнь, как жилетка у аиста, которого лишили перьев...

Второй побег Пнин совершил утром, когда они складывали в штабеля работяг, убитых в бомбейку. На путях формировался состав. Паровоз подали со стороны солнца. У Пнина не было решения даже тогда, когда послышался свисток отправления и машинист ответил длинным гудком. Но чуть вагоны тронулись, Пнин бросился путанными ходами свалки к забору, где, помнил была дыра. "Стой, чума! Застопори!" Это позади, а впереди вагоны, набирающие скорость.

Юрий вскочил на подножку кондукторской будки и закрыл за собою дверь. Когда поезд вырвался из городских кварталов и застынул на возвышенностях Шварцвальда, распахнул дверь и громко читал поэму строфу за строфой. Он понял, что она гениальна

Пнин покинул состав за Одером. Потом шел пешком, обходя деревни и хутора. Его путешествие напоминало путешествие указки по школьной карте Европы, так как он знал названия только больших городов. Руководило им солнце.

Он читал поэму и вел, по мере приближения границы России все более длительные беседы с учителем. Пнин не сочинял

диалога, он знал, что каждое высказывание Учителя подобно притче и сутре. Он задавал вопросы и находил ответы в словах, когда-то Учителем высказанных.

" Все думают, говорил Олег Михайлович, что к поэту сбегаются слова,- о, раковое заблуждение, проданное публике плохими поэтами! К поэту сбегаются вещи, ибо опять говорю, что поэты ^{ничего} не сочиняют. Читатели бегут в стихотворение, чтобы получить вещи назад, ибо их душа полнится ломбардными квитанциями... И поэт возвращает, как будто эти вещи он принял у них под залог."

Пин бежал на солнце, он бежал между вещами. "Учитель, я знаю, ничто не притрагивается ко мне. Лев не придет положить голову на колени, как к святому Иерониму. Я бегу между каплями дождя. И когда наклоняюсь к ручью напиться, я знаю, что я только беглец. Поэма не отстает от меня, как оводы, преследовавшие Йо. Но они ^и все чаще отдыхают, когда я засыпаю ворохе старой листвы. Я забыл, что я стихотворец.

Однажды, его чуть не проткнули штыком, когда он прятался в стоге соломы. В него стреляли на границе ^{Грифии} с Польшей. Но ему везло. В лесу за ^{бис} лисой его приговорили к расстрелу.

Пина задержал бродячий отряд, где от каждого командира пахло одеколоном, а от солдата водкой. Они были против немцев и против русских. Пин задумался, как можно было бы их назвать и решил, что они "ахламоны". Предчувствуя их гибель, он разговаривал с ними на изысканном польском языке, он знал его, так как бабушка провела юность в Вильне и вместе со внуком прочла ^и всего Мицкевича. Ахламоны верили, что он русский, немецкий ^и поляк. И не верили, что он поляк, русский, немец. И решили, что расстрел в этом случае уместен.

Но уже тогда он нес с собой бутылку французского коньяка: в том составе, в котором добрался до Одера, несколько вагонов были набиты ящиками с бутылками. Юрий обратился мысленно, к учителю и догадался, что такой презент будет принят им с удовольствием.

Ахламонам было ясно все, кроме бутылки, старательно запечатанной в тряпье, с которой пойманный явно не хотел расставаться. Между тем, ему было объявлено, что его решено пришибить. Пнин рассказал об Учителе и о надежде доставить ему приятное этим подарком. Ахламоны были озадачены, но после страстной дискуссии поверили, что и сейчас где - нибудь может существовать великий поэт. "Шел как хошь", - сказали Пнину командиры. Пнин снова завернул коньяк в тряпье и удалился, как удаляются из антикварного магазина с вещью, которая оказалась никому не нужной.

Западную Польшу Пнин прошел в середине зимы. Потом две недели лежал больным в Почаевской монастырской обители. Не успел пройти полсотни километров, как фронт океанским валом прошел на Запад. Уткой лодкой его кружило на одном месте, его арестовывали, направляли, перепоручали, пока он не ~~забыл~~ ^{кубо-го} ^{ищ-и} забился в поезд, который, он знал, шел на Москву.

Пнин был страшно худ, а борода делала его стариком. Кондитор поезда так определил его настоящее и будущее: "Что дед, в больницу столичную правишь!" Пять дней он ехал в трофейном танке, который везли не то на выставку, не то на переплавку. Когда он сошел с платформы, земля закачалась под его ногами. Ему стоило большого труда добраться до трамвая, до метро, до Арбата.

Юный Ученик плакал в садике напротив дома Учителя. Он был не в силах преодолеть последние метры. Он плакал и был счастлив: он видел окна Олега Михайловича и там горел свет.

Было заполночь, когда Пнин поднялся. Поражаясь торжественности момента, ступил на лестницу.

Старые ступени, знакомые дверные таблички, даже царапины на штукатурке — все здесь сквозило смыслом. Мир вещей изумлял его своим извращением. Он прошел между каплями дождя, и теперь каждая из них бежала по его лицу.

Он знал любовь Учителя к чину, смахнул грязь с брезентовых штанов, потянул за полу, задирающуюся горбом телогрейку. Позвонил.

О, эти шаркающие шаги божества, ироническое покашливание перед тем, как открыть дверь посетителю!..

— Юрочка! — Пнин бы упал на грудь поэта, если бы не знал как поэт не любит все, что случается в театре.— Прошу, мой друг. Ты окоченел, как Большая Медведница. Ноги! Ноги!

Пнин старательно вытер о коврик свои бахилы и вошел в комнату Учителя с панцирем черепахи на письменном столе.

— Как поздно ты пришел, мой юный ученик! Как непроприально опоздание. — Олег Михайлович почти скрылся в облаке трубочного дыма.

Его волосы поседели, а голова напоминала Юрию теперь не голову льва, а львенка.

— Ты непоправимо опоздал. Все давно уже закрыто, а я, прости, как на дне колодца, из которого только дух джина может меня вознести.

Юный Ученик знал, что речь Учителя грустная, когда он говорит каламбурами.

- Олег Михайлович! - от волнения чуть слышно проговорил Пнин. Он вышел в прихожую и вернулся, неся в вытянутых руках коньяк.

- Ах, каналья! - воскликнул Олег Михайлович, весь погрузившись в созерцание сосуда. Нет! Вещи попрежнему сбегались к старому поэту, даже если для этого они были должны пересечь пол-мира. Но поэт ^{не} всегда не верит в их подлинность.

Учитель открыл бутылку с ловкостью мага. Наполнив фужер, запрокинул голову и медленно пил, - Пнин пожирал глазами Учителя. Рука еле донесла пустой фужер до стола, глаза уже смыкались. Олег Михайлович пробормотал несколько слов и уснул в кресле, выпятив нижнюю губу и уронив голову на грудь.

Пнин приbral, - как делал это когда-то, - комнату, отыскал тот плед, которым накрывался на кушетке, когда Учитель оставлял его ночевать. И погасил свет.

Утром услышал шлепанье туфель и удивленный взглас:

- Неужели макасины этого юноши благоухают французским коньяком!

В складках пледа еще таится нега.

Пнин пытается вспомнить поэму...

1975 г., апрель.